

Михаил Петрович Арцыбашев

Смерть Ланде



Михаил Арцыбашев

Смерть Ланде

«Public Domain»

1904

Арцыбашев М. П.

Смерть Ланде / М. П. Арцыбашев — «Public Domain», 1904

«Зимой городок затихал. Все, что было в нем молодого, беспокойного, разъезжалось по большим городам. Оставались одни старики духом и телом, жили по непоколебимому, однообразному порядку: играли в карты, служили, читали и думали, что это правильная жизнь. На улицах тихо лежал неподвижный, холодный саван белого снега, а в домах тихо и сонно копошились конченные люди. А весной, когда черная, влажная земля начинала пахнуть и везде зеленело, и солнце радостно грело, высушивая каждый бугорок, и по вечерам было тихо и чутко, — каждый день с поездом кто-нибудь приезжал домой, и на улицах показывались оживленные, свежие лица, такие же молодые и радостные, как весна. И так же естественно, как прилетали на старые гнезда птицы, как росла на старых местах трава, было то, что именно весной все молодые, жизнерадостные люди возвращались в свой маленький, тихий, немного грустный городок...»

© Арцыбашев М. П., 1904

© Public Domain, 1904

Содержание

I	5
II	10
III	12
IV	15
V	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Михаил Петрович Арцыбашев

Смерть Ланде

I

Зимой городок затихал. Все, что было в нем молодого, беспокойного, разъезжалось по большим городам. Оставались одни старики духом и телом, жили по непоколебимому, однообразному порядку: играли в карты, служили, читали и думали, что это правильная жизнь. На улицах тихо лежал неподвижный, холодный саван белого снега, а в домах тихо и сонно копошились конченные люди. А весной, когда черная, влажная земля начинала пахнуть и везде зеленело, и солнце радостно грело, высушивая каждый бугорок, и по вечерам было тихо и чутко, – каждый день с поездом кто-нибудь приезжал домой, и на улицах показывались оживленные, свежие лица, такие же молодые и радостные, как весна. И так же естественно, как прилетали на старые гнезда птицы, как росла на старых местах трава, было то, что именно весной все молодые, жизнерадостные люди возвращались в свой маленький, тихий, немного грустный городок.

Так, в мае приехал сын недавно умершего председателя уездной земской управы, студент-математик Иван Ланде.

Целый день он просидел с матерью, все время с тусклыми, усталыми слезами рассказывавшей ему о смерти отца; а когда стало смеркаться, взял фуражку и пошел на бульвар, над берегом большой реки, еще полной от весенней воды. Там в одном месте берег падал вниз крутым обрывом и над ним были две лавочки из старых зеленых и мягких от сырости досок.

За рекой стемнело. Даль ушла куда-то в темный простор. На потемневшем глубоком небе тихо и незаметно высветились звезды, и все было полно той торжественной тишиной, когда кажется, что кто-то незримый, величавый и спокойный стоит над землей.

Только далеко внизу, на реке, протяжно, с непонятной тревожной грустью, точно предостерегая и напоминая о чем-то печальном и неизбежном, кричал пароход, и на широком речном стекле, странно светлом, когда везде было темно и черно, видна была беспокойная черная точка, быстро оставлявшая за собой ровную широкую серебряную полосу.

На бульваре было безлюдно и пусто. Только из окон клуба падали на землю желтые полосы света и в них двигались беззвучные тени, да на самом обрыве смутно чернели фигуры, вспыхивали вздрагивающие огоньки папирос и еще издали слышались голоса и смех. Ланде спокойно и тихо шел туда и улыбался. Он был легкий и тонкий человек, и шагов его почти не было слышно на мягкой земле.

– ...Запоем песню ли закричим так, чтобы на том берегу было слышно! – говорил полный и звонкий женский голос, и слова его мягко и радостно вспыхивали в густом теплом воздухе.

– Начинайте! – задорно отвечал мужской голос, и кто-то смеялся.

Ланде подошел и сказал:

– Здравствуйте!

Он говорил тихо, но внятно и спокойно, и его всегда было слышно.

– А, Ланде! – обрадованно и так резко, что садилось в ушах, закричал маленький, угловатый студент и через головы других протягивал ему большую руку, торчавшую из коротких рукавов тужурки.

Ланде, мягко улыбаясь, с удовольствием крепко и долго пожал ему руку и так же любовно и ласково стал здороваться с другими. Все радостно и оживленно пожимали его худую руку, и было что-то такое простое, искреннее, хорошее в этой общей радости, что ею

заразился даже никогда еще не выдавший Ланде приезжий художник Молочаев, большой и сильный человек в широкой шляпе. Когда Ланде подошел к нему и сказал:

– Я – Ланде, познакомимся.

Художник ответил:

– С большим удовольствием! – и с улыбкой посмотрел ему в лицо, точно заглядывая в душу сквозь его чистые и спокойные глаза.

– Я уж о вас слышал! – прибавил он. Голос у него был твердый и звучный, как будто он бил в медный колокол.

– Разве? – спросил Ланде, улыбнулся и сейчас же отвернулся. Но в этом не было равнодушия, а была какая-то скрытая близость, точно он давно знал его.

– О чем вы тут? – спрашивал Ланде.

– Марья Николаевна хочет на луну прыгнуть! – смеясь, отозвался маленький студент.

– Это хорошо! – улыбнулся Ланде.

Больной студент Семенов хрипло закашлялся.

– А ты все болеешь? – ласково сказал Ланде и обнял его за плечи.

– Все... – грустно ответил Семенов, – по-прежнему.

– Ну, ничего! – начал Ланде, и голос его задрожал.

– Нет, брат, мне уж капут! – возразил Семенов, неестественно искривив в улыбке свое, старчески сморщенное от болезни лицо, и голос его против воли тонко и ярко прорезало острое отчаяние. – Скоро из меня хар-роший лопух вырастет!

Все притихли. Что-то холодное и чужое, и страшно близкое всем встало внутри них. Оттого отчетливо был слышен тихий, как слабо натянутая струна, голос Ланде, когда он говорил:

– Полно, голубчик! Нельзя так говорить! Нельзя так говорить о том, чего никто не знает. Все мы умрем когда-нибудь, не я, не ты один, а все, и все вместе узнаем, конец ли, лопух ли, как ты сказал, или иная жизнь. Все! Неужели ты ничего не чувствуешь за этим словом?.. Не может такая сила страдания, любви и мысли не стать над землей, уйти в лопух. И все чувствуют это и верят, и ты веришь, а только не хочешь верить, потому что боишься, как ребенок, нового, непонятного. Ведь мы не знаем смерти, и страшно в ней нам именно то, что мы ее не знаем...

Та торжественная в своей простоте искренность, с которой он говорил свои спутанные, волнующиеся в воздухе слова, действовала на измученный мозг, как неуловимый мягкий запах, как теплая струя, нежащая душу, успокаивающая, отвлекающая обостренную мысль к чему-то неопределенному и светлому, как далекая заря. Детски доверчивая надежда робко засветилась в темной глубине дрожащего сердца, и, даже не вдумываясь в его слова, а только чувствуя их, Семенов улыбнулся спокойнее и светлее.

– Блажен, кто верует! – уже легко, шутя, сказал он.

Тогда все свободнее вздохнули и снова заговорили, задвигались. Незримый холодный призрачный тихий отступил и снял свою страшную тяжелую руку.

По бульвару, чиркая длинными ногами по шуршащему песку, прошел высокий, черный как тень человек.

– Это Фирсов, – сказал Ланде и, напрягая голос, крикнул: – Фирсов!

– Кто такой? – тихо спросил Молочаев.

– Так, казначейский чин... – пренебрежительно и как будто досадуя на Ланде, махнул рукой Шишмарев.

Черная тень медленно остановилась.

– Это, кажется, вы, Иван Ферапонтович? – с неверным оттенком, так, что нельзя было понять, с каким чувством он говорит, спросил скрипучий деревянный голос.

– Я, – отозвался Ланде.

Чиркая ногами и из плоской тени превращаясь в длинного костлявого человека, Фирсов подошел.

– Здравствуйте, Иван Ферапонтович, здравствуйте! – преувеличенно радостно заговорил он и, точно стараясь шуметь и волноваться как можно больше, лез по ногам сидевших к Ланде.

– Осторожней... вы!.. – недружелюбно заметил Семенов.

– Здравствуйте, Фирсов! Как живете? – крепко пожимая ему руку, сказал Ланде.

– Что ж, – потирая руки, сказал Фирсов, – как я могу жить. Служба, служба – вот и вся жизнь! Только и живу духом в церкви, обновляюсь...

В его скрипучем голосе все время свистела тоненькая фальшивая нотка самоумиления, когда он говорил о своей жизни, и казалось, что он хвастается ею перед Ланде.

– Небогатая же у вас жизнь, – с открытой насмешкой сказал Шишмарев.

Медленным, как будто хрустящим движением Фирсов повернулся к нему.

– Вы думаете? – сквозь зубы спросил он и прибавил: – Большого богатства, как общение с Богом, не знаю... Вы, конечно, иначе смотрите?

В голосе его тихо вздрогнула скрытая угроза. Шишмарев посмотрел на него презрительно и зло и отвернулся.

– Да... – протянул Фирсов, помолчав. – А я, Иван Ферапонтович, на днях был в суде присяжным. Интересное дело попало. Судили, знаете, за кражу со взломом одного мастерового... Он тут у нас на паровой ткацкой служил мастером. Да вы его, кажется, знаете: Ткачев по фамилии...

– Ткачев? – испуганно вскрикнул Ланде, – да не может быть!

– Да, – с удовольствием сказал Фирсов, за кражу. – Дело-то само по себе пустое, но держал он себя... Можете себе представить: от защитника он отказался, сам говорил... «Я украл, говорит, конечно, но, господа присяжные, кто из вас без греха, пусть первый меня осудит!..» Кошунство, в сущности говоря! Но тут только я понял, какая сила в этих словах...

– Тут не в словах дело! – отозвался Семенов.

Фирсов вдруг весь как-то взъерошился и надулся.

– Нет, именно в этих словах!.. В словах!

И он спутанно стал доказывать, что именно эти слова, как чудо, как «слово Божие», независимо от того человека, который сказал их, применив к своей страшной и горькой жизни, «ударили по сердцам». И в том, что он говорил, было что-то такое сухое, скучное, – его не стали слушать.

Марья Николаевна протянула руку в широком белом рукаве, точно крыло какой-то большой белой птицы, и громко сказала:

– Луна, луна всходит!

Фирсов круто замолчал и с выражением злой обиды посмотрел на нее.

– Да, конечно... луна важнее! – пробормотал он.

– Все важно, – ласково, успокаивая его, улыбаясь, сказал Ланде.

В глубоком мраке, не то очень близко, не то страшно далеко, из-за черного горизонта осторожно выглянул кто-то красный и тихо стал круглиться и расти, и сейчас же в темной воде заблестели искры, и тоненький, дрожащий золотой мостик ровно протянулся от одного берега к другому, точно таинственно и безмолвно предлагая легко перейти на ту сторону, в какой-то лазурно-темный и серебряно-светлый мир.

– Какая красота! – полным, восхищенным голосом сказала Марья Николаевна, и голос ее, сильный и свежий, радостно прозвучал над обрывом.

Ланде поднял на нее глаза и долго с радостью смотрел в молодое и красивое лицо, глубокими глазами глядевшее вдаль, мимо него.

– Иван Ферапонтович, – скрипучим, унылым голосом проговорил Фирсов и встал, – мы еще увидимся, конечно... А теперь я пойду.

Конечно, увидимся, – мягко и слабо пожимая ему руку с холодными и влажными пальцами, сказал Ланде.

Фирсов молча попрощался с другими и ушел, чиркая ногами.

– Охота тебе с ним связываться, – холодно пожал плечом Шишмарев, когда он отошел. – Ханжа, скаред... по церквам шляется, а ребенка своего мучает.

– Он... – начал Ланде.

– Э, да оставь, пожалуйста! – с досадой перебил Шишмарев.

Ланде грустно улыбнулся и замолчал.

Луна всплыла над землею и повисла в воздухе, круглая, молчаливая и светлая.

– Вот, напишите что-нибудь такое, Молочаев! – не поворачивая головы, сказала Марья Николаевна. – Так я вас сразу в великие художники произведу!

Молочаев молча смотрел на луну, и глаза у него расширились, стали мягче и глубже, точно он видел что-то, невидимое никому, кроме него, таинственное и великое.

Шишмарев с пренебрежительным вниманием посмотрел на него.

– Напишет! – сказал он и, отвернувшись к Ланде, заговорил торопливо, резко и озабоченно: – Ланде, у нас тут была история на Вершиловской мельнице. Вершилов стал мясо гнилое выдавать, ну, они и того... побили стекла, управляющего помяли... Двадцать два человека взяли!

– А что, они правы, Ланде? – вдруг спросил Семенов с добродушной иронией.

– Да... – твердо ответил Ланде.

– Гм... – издал Семенов неопределенный звук и нахмурился.

– Семейства их в ужасном положении... Скверная история! – встряхнул головой Шишмарев. – Мы тут кое-что устроили для них да что!..

Все замолчали. Ланде смотрел в землю и слабо шевелил тонкими пальцами.

Семенов тихо кашлянул, и звук отчетливо отдался над обрывом. Луна незаметно, точно крадучись, поднималась все выше и выше над чем-то черным и непонятным, и чем выше она поднималась, тем понятнее и светлее становилось это черное, и скоро стали ясно, но призрачно видны противоположный берег и белые полосы тумана в лугах. От реки тихо вставал тот же белый, холодный туман, и над темной глубокой водой заходили бледные и молчаливые призраки.

Стало сыро и холодно. Семенов застегнул пальто, глубоко надвинул на голову фуражку, так что уши жалко оттопырились, точно у летучей мыши, и встал.

– Я домой... – сказал он. – Холодно... А ты, Соня, пойдешь?

– Нет, – задумчиво ответила тоненькая, как былинка, девочка, все время неподвижно сидевшая над самым обрывом.

– Ну, как хочешь... – мутным голосом, равнодушно сказал Семенов... – Холодно. Приходи ко мне, Ланде!

– Хорошо, – ответил Ланде.

– До свиданья!

– Что? – машинально отозвался Молочаев.

– Задумался, художник! До свиданья!

Семенов болезненно сгорбил спину и медленно пошел вдоль бульвара.

– Слушай, Леня... – тихо заговорил Ланде, и было видно, что думал он все время об этом. – Надо помочь тем...

– Да, что можно было – сделали. Средств нет никаких!

Ланде встал.

– Где же никаких?.. – сказал он задумчиво. – Ты приходи ко мне завтра... А теперь я пойду. Меня мама ждет.

Скоро стало совсем холодно. И земля, и небо, и вода, и лица людей – все голубело от холодного света луны и казалось прозрачным и холодным, как голубой лед. Шишмарев с Соней пошли в одну сторону, а Ланде, Молочаев и Марья Николаевна – в другую.

II

– Я с вас этюд напишу! – сказал Молочаев, близко наклоняясь к самому лицу Марьи Николаевны, ярко освещенному луной.

– Хоть два! – засмеялась она, и глаза у нее вспыхнули веселым гордым удовольствием.

Ланде поднял голову, посмотрел на них и сказал:

– Это хорошо...

Ему хотелось сказать: «Это хорошо, что вы оба такие молодые, красивые и что вы влюблены друг в друга!» Но он не сказал и только улыбнулся.

– Что же вы думаете устроить для рабочих? – вспомнив и делая серьезное лицо, спросила Марья Николаевна.

Ланде слегка развел руками.

– Особенного ничего... а так, на первое время... у меня деньги есть.

Молочаев посмотрел на него, и от его освещенного луной худого, некрасивого, с большими прекрасными глазами лица на художника повеяло простой и несокрушимой решимостью. Чувство неприятной, неопределенной зависти шевельнулось в Молочаеве, точно пожевился под лучом света в глубине души его какой-то притаившийся мутный дух.

– Отдадите? – недоверчиво кривя губы, спросил он.

– Да, – ответил Ланде.

– Все? – с выражением нехорошей шутки опять спросил Молочаев.

– Не знаю, право, голубчик... – добродушно и раздумчиво, точно советуясь с ним, ответил Ланде. – Может, и все... как нужно будет.

– А у вас-то их много ли? – с деланной иронией сказал Молочаев.

«Оригинальничает тоже!» – подумал он и, чувствуя, что из зависти к нему-то думает неправду, озлобился.

Марья Николаевна внимательно смотрела на Ланде.

– У меня...

Ланде поправил фуражку и спокойно сказал:

– Не очень... четыре тысячи есть.

И опять Молочаев нехорошо подумал: «А эффектную паузу выдержал!»

Потом нечаянно посмотрел на Марью Николаевну и забыл про Ланде.

– У вас лицо с картин Штука, когда вы смеетесь или задумываетесь! – сказал он восхищенным, искренним голосом, а глаза у него жадно заблестели.

Марья Николаевна засмеялась, и при луне на мгновение ярко и таинственно забелели белые зубы в резко очерченных полуоткрытых губах. Ланде посмотрел на нее и увидел, что лицо у нее точно – белое, сильное и нежное, и жестокое, как на картинах Штука. И вся она была такая высокая, стройная и сильная, и пахло от нее чем-то свежим и возбуждающим.

– Так все им и отдадите? – пряча лицо от Молочаева, спросила Марья Николаевна Ланде.

– Так и отдам! – радостно и ласково улыбаясь ее красоте и ясным глазам, сказал Ланде.

И голос у него был такой спокойно и мягкодушевный, что Марья Николаевна вдруг на мгновение задумалась. Какая-то глубокая, теплая и кроткая струнка чутко отозвалась где-то в самой глубине ее души.

«Милый он какой-то и странный... Блаженненький! – с улыбкой вспомнила она, как называл Ланде Семенов... – Нет, он не блаженный!»

Ей захотелось, чтобы это было не так. Не потому, что перед ней был именно Ланде, а потому, что теперь, в ночь, хотелось, чтобы тут близко, в живом и сознательном, засветилось

торжественно и просто то могучее и прекрасное, что было вокруг, в лунном свете, в звездном небе, на торжественно-спокойно спящей земле.

– Мне сюда... – сказал Ланде нерешительно. Ему не хотелось уходить от них.

– Прощайте! – холодно и слишком быстро отозвался Молочаев.

Ланде подумал и, тихо улыбаясь, ушел.

«Пусть их!» – сказал он себе, и в душе у него было что-то широкое и умиленное, как общее объятие.

Молочаев и Марья Николаевна долго шли молча, и торжественная тишина точно стояла в самой ее душе.

– Юродивый какой-то этот Ланде! – с нехорошим выражением сказал Молочаев. – Дурачок... А, может, напротив, далеко не дурачок! – скривившись, добавил он, и неожиданно просто и вдумчиво проговорил:

– У него лицо некрасивое, но очень интересное. Вы, кроме своего искусства, ничего не видите! – сказала Марья Николаевна, негромко засмеялась и повернула лицо к луне.

– Нет, я все красивое вижу! – возразил Молочаев, вкладывая в свои незначительные слова особый, близкий и понятный ей смысл.

– А кроме красивого?..

– А черт его знает! Ничего! – вздернул широким плечом Молочаев.

Марья Николаевна смеялась. Под белой кофточкой от смеха колыхалась грудь и при луне, резко очерченная глубокими влажными тенями, казалась точно голой. И вся она в ярком, синеватом свете была какая-то странная, резко красивая, не похожая на обыкновенную дневную женщину.

Молочаев широко открытыми глазами смотрел на нее и что-то властно тянуло и толкало его к ней.

«Ого!» – вспыхнуло у него в мозгу. Давно и любимо знакомое ему чувство силы и жадности задрожало у него в ногах и груди, и вдруг подняло над землей, и отделило от всего мира. Как будто и луна не светила и не было холодно, было жарко и пусто, и только она одна, резко и таинственно красивая, стояла ярко и отдельно, как звезда во мраке, и страшно близкая, и страшно далекая. Молочаев наклонился и сбоку видел темные блестящие глаза, не смотревшие на него, как будто безмолвно ждущие и что-то таинственно обещающие.

Было тихо. Только где-то далеко, за домами, то черными и мрачными, то белыми и холодными, одиноко, тоненько таяла маленькая собака: «Гав... гав... гав... гав... гав»!..

И что-то общее, странное и напряженное стояло во всем.

– Жить хочется! – тихо, а потом все громче и сильнее заговорила Марья Николаевна. – Что-то сделать хочется, любить хочется...

И вдруг засмеялась неожиданно и звонко.

– На луну прыгнуть хочется, как говорит Шишмарев! – вспомнила она.

И все стало просто и обыкновенно красиво.

– Спать, спать пора! – певуче прибавила она, – вот что! До свиданья!

– До свиданья... – еще дрожащим голосом ответил Молочаев и вздохнул глубоко и напряженно.

Они уже стояли возле калитки ее дома.

– До свиданья!..

Легкие шаги стихли за забором. Где-то раз и другой щелкнул запор; слышно было, как дверь тяжело осела внутрь, кто-то что-то сонно спросил, и опять стало тихо и пусто.

Молочаев долго шел по пустым улицам, залитым лунным светом, смотрел на далекий кружок луны и радостно ни о чем не думал.

III

Когда Ланде пришел домой, мать его сидела у стола и, видимо, давно ждала его ужинать.

В доме еще было уныло пусто после смерти отца Ланде, и ей было скучно, страшно и жалко себя. Ей казалось, что все в мире кончилось, умерло, и вся жизнь ее темной и роковой силой раскололась на две ровные половины. То, что было скучно и тяжело прежде, она забыла, и ей казалось, что позади, страшно далеко было только мимолетное, радостное и теплое, все точно освещенное ярким и греющим светом, а теперь было пусто и холодно, впереди еще темнее и мрачнее, и хотелось иногда умереть. Только когда она вспоминала сына, что-то светлое мелькало перед нею и становилось осмысленнее все, что она делала.

– Ваня? – тихо спросила она из-за лампы.

– Я, мама! – отвечал Ланде, бросил фуражку на стол, подошел к ней и сел рядом, прижавшись головой к полному, но уже не упругому, теплomu, как лежанка, плечу. Она погладила его по голове, по редким, очень мягким и светлым волосам, и подумала, что в нем – все ее будущее, вера, радость и смысл, вся эта непонятная, страшная жизнь.

– Хочешь есть? – спросила она и положила ему руку на плечо.

– Хочу, – сказал Ланде и стал тихо и нежно целовать ее пухлую, с коротенькими сморщенными пальцами руку.

– Милый мой мальчик! – со слезами на глазах сказала мать.

Что-то прочное, давно знакомое и дорогое им ощущение протянулось между ними, и Ланде больше не мог не сказать того, о чем думал все время:

– Мама, что, собственно, осталось после папы... всего?

Мать нисколько не удивилась этому вопросу, потому что Ланде еще не знал, в состоянии ли он продолжать теперь университет, и она подумала, что это затем.

– Немного, Ваня... – грустно сказала она, думая о другом. – Вот дом, пенсию мне назначили, слава Богу, недурную. А денег осталось всего четыре тысячи.

– Так я и думал. Мама, дом и пенсия, конечно, твои, а деньги позволь взять мне теперь, мне нужно... – сказал Ланде, и в ту же минуту в душе его появилось тяжелое, тревожное чувство.

– А, да... возьми, возьми... они ведь тебе и завещаны.

Мать задумчиво посмотрела на Ланде и провела рукой по его волосам.

– Что же ты с ними сделаешь? – тихо и ласково, как ребенку, улыбаясь, спросила она.

Ни на одну секунду у Ланде не было мысли не говорить ей. Он взглянул ей в глаза просто и ясно, лицо его просветлело, и ответил твердо и спокойно.

– Я, мама, хочу отдать их семьям тех рабочих, которых прогнал Вершилов.

– Что? – переспросила мать, улыбнулась и сказала: – Глупый ты еще у меня, как ребенок, хоть и борода уже выросла...

Ланде печально улыбнулся и промолчал.

– Ты и в самом деле не вздумай этого! С тебя ведь станется! – вдруг совсем другим, тревожным и предостерегающим голосом сказала она. И еще раньше, чем договорила, увидела по его ясно и как-то чересчур широко раскрытым глазам, что он говорит правду. С минуту она молчала, с испугом глядя ему в лицо, а потом, больше стараясь уверить себя, проговорила:

– Глупости! А сам ты с чем останешься?

– Как-нибудь... – печально сказал Ланде, чувствуя, как между ними незримо встает непроницаемая, холодная стена.

– Глупости! – упрямо, точно защищаясь против чего-то враждебного и злого, повторила мать. И было это точно враждебно и зло для нее, ибо стирало на нет все, чем она прожила всю свою долгую, муравьино-кропотливую жизнь.

Ланде промолчал, и в сердце его точно оторвалось что-то кровавое.

Ночью, лежа в постели, он думал:

«Что делать? Мама не поймет и не захочет понять. Это будет для нее страшным горем; а я иначе не могу... Мы будем становиться на дороге друг другу, и так как я люблю ее, то буду уступать ей... А этого не должно быть! Значит, надо уйти от нее!»

Огненное чувство отметило это решение; что-то больно сжалось в груди, и в глухой темноте он почувствовал себя одиноким, оторванным от всего. В первый раз в жизни он рвал с бесконечно любимым человеком, и перед разрывом стало ему холодно и страшно. Почему-то сторбленный, умирающий Семенов встал перед ним и в душе поднялась незнакомая тревога.

«Вот я здесь лежу, – вдруг подумал Ланде, – один со своей верой в то, что надо разорвать, причинить горе и боль; а быть может, все-таки... ну, все-таки... кругом только пустота, только бесконечная пустота. Там где-то звезды, только звезды! И я не то, что песчинка, а меньше, бесконечно меньше, и жизнь моя в вечности не миг даже, а что-то... точно и нет ее совсем. А я живу, верю, сам ухожу от... Что же я делаю тогда?»

Волосы зашевелились на голове у Ланде; мелкая дрожь назойливо била в левой ноге. На мгновение показалось ему, что он висит в какой-то холодной, мертвой и величаво страшной пустоте. И внизу, и вверху темно и пусто. Потом ему вспомнился тот котенок, которого при нем взял за шиворот кучер Вершилова, подержал и бросил оземь и убил на месте, – и Ланде показалось, что это он висит, взятый за шиворот, в пустоте, на один миг от смерти и беспомощно мотает лапками. И вот что-то швырнет его, страшно, как гром, ударит и будет тихо, неподвижно, темно. Чувство одиночества стало нестерпимо для натянутых нервов и мучительно хотелось, было нужно, чтобы кто-нибудь сказал, что он не один в огромном, как вечность, мире, что это не так.

Ланде судорожно откинул голову назад и, напряженно вытаращенными глазами глядя куда-то в черную бездну, повисшую над ним, напрягая все существо свое в страшном порыве, стал молиться кому-то: – Господи, Господи... Господи, Боже мой!

В голове у него в невообразимом хаосе крутились мысли, мелькали, сталкивались и путались между собою, и все тело и весь дух его томились, выливаясь в этой молитве. Кроме этих слов ничего не приходило ему в голову, но он всем существом напрягался в них, и в громадности этого напряжения, доходящего до границ, какие может вынести человек, выросло что-то могущественное, великое, что, казалось, не могло быть бесцельным.

– Господи, Господи!..

И уже чувствовалось ему, что Кто-то слушает. Властный и Спокойный.

Вдруг среди хаоса мыслей неожиданно, неведомо для него, одна стала выделяться, крепнуть, освещаться.

«Я молюсь, лежа в теплой кровати, а рабочие Вершилова спят теперь после тяжелого, беспросветного дня, на голом полу...»

Что-то остановилось и как будто выжидательно прислушивалось в нем и вокруг него. Было тихо, напряженно тихо, и Ланде сам слышал, как судорожно и тяжело дышал он.

«Ну, так что ж из этого? Что я должен делать?» – спрашивал Ланде кого-то внутри себя.

И где-то в глубине его души явилось сначала незаметное, а потом все сильнее и сильнее оборванное желание встать и лечь на холодный пол.

«Но ведь не в том дело!» – сказал себе Ланде.

Но чувство стало огромным и начало томить его тоской.

«Господи!..» – попробовал бороться с ним и молиться опять Ланде, но призыв отзывался в его душе пусто и мертво.

Тогда Ланде с внезапным порывом быстро встал с кровати и опустился сначала на колени, а потом положил горячий лоб на холодный пол. Кругом было также тихо и темно.

Глаза у него вдруг стали мокрыми, и в душе стало тихо, точно все вздохнуло от разрешенного напряженного ожидания. И сейчас же Ланде вспомнил, что завтра он отдаст деньги рабочим, отдаст все, что может отдать, всего себя, самое радостное и светлое своей души. Как это будет, Ланде не знал и не думал об этом, как не думал уже и о том, что огорчит этим мать, восстановит против себя многих, затруднит свою собственную жизнь.

Полное и радостное чувство встало в нем и все вокруг наполнило чем-то громадным, светлым и ясным. Страх исчез, как дым. От пола было холодно, и все тело Ланде дрожало; но ему было приятно это, как будто этим он соединялся с кем-то и уже не был одиноким. А потом все вокруг: и твердость пола, и холод, и тьма, и собственное полуголое, смешно скорченное на полу тело, – все отошло куда-то и стало незаметным, ненужным.

– Господи, Господи мой! – с неумолимой силой снова молился Ланде.

И в этом напряженном, радостном состоянии, похожем на величайшее и глубочайшее счастье, он точно застыл, успокоился, стал забываться и заснул на полу, когда в окна стало смотреть что-то светлое, серое и прозрачное.

Было это в последний раз в его жизни, когда в нем мелькнуло сомнение, когда он смутился на мгновение в предвидении тяжелого разрыва. Потом в душе его открылась светлая и прямая дорога.

IV

Утром на другой день Ланде пошел в острог. За городом, на нежно-зеленом лугу, по широкому откосу реки резко белели белые стены и чернели одинокие солдаты, пронзая голубой воздух блестящими на солнце штыками.

Ланде проводили к смотрителю, у которого была борода по пояс, белая, седая, такая, какую пишут всегда на плоских суздальских иконах. Он вежливо уставился на Ланде и вопросительно пошевелил тонкими, недоверчивыми губами.

– Моя фамилия – Ланде. Вы меня, наверное, знаете?.. Я бы очень хотел повидать того Ткачева, которого третьего дня оправдали в суде. Я узнал, что он еще у вас...

Иконописный смотритель тюрьмы шевельнул костлявыми пальцами.

– Это можно... Он у нас еще. Видеть его, конечно, можно! – повторил он, как будто стараясь уверить себя самого. – Я вас велю проводить... Или, может, сюда позвать?

– Лучше я сам к нему пойду, – он, может, еще и не захочет ко мне. Я с ним, собственно, почти что незнаком.

Смотритель в упор посмотрел на Ланде.

– Сидоров, проводи! – вдруг сердито насупив брови, сказал он и перестал смотреть на Ланде.

– Что ж, я буду распоряжаться им, знаете?.. – доверчиво говорил Ланде. – Я хочу, видите ли, предложить ему...

– А это уж вы там с ним поговорите! – еще сердитее буркнул смотритель и стал трогать бумаги на столе.

Ланде стало стыдно за смотрителя, за его грубость и холодность, и он заторопился.

Старый, бритый и щетинистый солдат, в черном мешковатом мундире, разорванном под мышками, шевельнул в сторону Ланде обшлагом с потертыми нашивками и сказал:

– Слушаю, ваше благородие!.. Пожалуйте, господин!

Ланде пошел за ним на двор.

Двор был чистый и большой, но на нем не росла трава и было душно и жарко, несмотря на мягкое весеннее небо, сверкавшее вверх. Пахло кислыми щами, швальней и приторным, противно-нудным запахом отхожего места.

– Нехорошо у вас тут... – сказал Ланде.

Сидоров оглянул двор маленькими мужицкими глазками, как будто с веселым недоумением отыскивая, что же тут было нехорошего.

– Так точно! – сказал он все-таки, так быстро и охотно, как будто ему доставило большое удовольствие согласиться с Ланде.

Ланде посмотрел, как тяжело и крепко шагал он корявыми мужицкими ногами и прибавил:

– Скверная у вас тут служба: людей стеречь!

– Так точно! – так же охотно ответил Сидоров.

– Лучше бы землю в деревне пахать! – продолжал Ланде, жалея его.

– Что ж, – сказал Сидоров, – и землю пахать хорошо.

От его охотного и веселого голоса и Ланде стало весело.

– Отчего Ткачева до сих пор не выпускают? Ведь его уже оправдали?

– Не идет ен сам! – улыбаясь, ответил Сидоров.

– Почему? – удивился Ланде.

– «Некуда мне, говорит, идти...» История! Чудак человек!

Ланде задумался, и скорбная тень легла ему на лицо и на душу.

Они уже прошли двор и пошли по узкому сводчатому коридору; тут было странно темно после яркого солнечного света на дворе; везде был холодный, грязно-белый камень и зеленое старое железо.

Из двери в дверь безучастно и лениво ходили грязно и безобразно одетые люди, молодые и старые, но все с одинаково бескровными, нездоровыми, опухшими лицами. Недружелюбно наглыми глазами они провожали Ланде, останавливаясь у стен, а потом безучастно, как тени, уходили куда-то в глубь сырых коридоров, и было что-то опасное, страшное в этих бессмысленных, равнодушных движениях. В одной камере кто-то старался петь, и было видно, что он нарочно тратит на это больше сил, чем надо, и самое пение походило больше на проклятие, – такой дикий был мотив и столько в нем скверных слов.

– Ткачев! – споро крикнул Сидоров вдоль по коридору.

– Эй, Ткачев!.. Эй... ты!.. Тебя!.. Чуешь! – нестройно закричали несколько голосов, точно обрадовавшись предлогу прокричать не зря, а для какой-то надобности.

На пороге одной камеры показался человек в большой, не по росту, арестантской куртке, худой, черный. Смуглое, скуластое лицо его смотрело на Ланде сумрачно и недоверчиво.

– Я к вам... – доверчиво улыбаясь и точно стараясь этой улыбкой стать ближе и понятней Ткачеву, сказал Ланде и протянул руку.

Ткачев неловко, как будто и не удивившись его приходу, подал свою.

– Я с вами хотел поговорить... – прибавил Ланде. Ткачев еще недоверчивее посмотрел на него, прикусил тонкую, сухую губу, потом нехотя отступил в сторону и назад шага два и сказал надтреснутым, глуховатым голосом:

– Я тут живу... вот...

Ланде вошел за ним в одиночную камеру. Это была сводчатая комната, такая низкая, сырая и затхлая, что странно было думать, что в ней живет большой человек, а не какое-нибудь маленькое, трусливое животное.

Ткачев подумал, нахмурился и подставил Ланде табуретку.

– Садитесь, пожалуйста... – сказал он с неопределенным выражением.

Ланде сел и мягко смотрел на Ткачева.

– Что вам от меня угодно? – беспокойно хмурясь под его взглядом, спросил Ткачев.

Когда он хмурился, лицо его принимало не суровое, а жалкое выражение, какое бывает у обиженных детей.

– Мне ничего не угодно... – добродушно возразил Ланде. – Я просто узнал о вас и пришел.

– Зачем же? – недоверчиво пробормотал Ткачев.

– Так. Мне стало больно, что вы так озлоблены и несчастны; я и подумал, что, может быть, вам будет легче, если я приду...

– Сострадание?.. Не нуждаюсь! – отрывисто и глухо возразил Ткачев и отвернулся к окну, перебирая по краю стола грязными худыми пальцами.

Ланде тихо взял Ткачева за руку.

– Зачем вы так говорите?.. Ведь это неправда... Ведь вы и несчастны, и озлобились, и украли только потому, что мало видели сострадания и любви в своей жизни. Я пришел к вам без всякой задней мысли, с открытым сердцем, с искренним желанием вам чем-нибудь помочь... Зачем же вы меня обижаете?

Ткачев пугливо посмотрел на руку Ланде, которая мягко и доверчиво держала его за черные пальцы, и вдруг покраснел.

– Никого мне не надо... – тихо, но упорно ответил он и незаметно убрал руку. – Все это одни глупости...

– Почему? – болезненно подняв брови, спросил Ланде.

Ткачев повернул к нему голову и презрительно через силу усмехнулся.

– Ваш наивный вопрос ставит меня в глупое положение... – бравирующим тоном, в котором сквозь неестественную витиеватость ясно слышалось что-то озлобленное и горькое, сказал он. – Вам... а впрочем, с какой это стати я с вами разговаривать буду! – вздернул он плечами и отвернулся к окну, на котором, неслышно ворошась за стеклом и решеткой, гулили голуби.

– Вот кормлю их... друзья! – помолчав, неожиданно проговорил он и конфузливо улыбнулся одним краем тонких страдальческих губ.

– Голубей?.. Да!.. – обрадовался улыбке Ланде и широко улыбнулся сам. – Конечно, друзья! Это ведь неправда, что вечная вражда и необходимость истреблять... Такой необходимости не может быть, не должно быть, не должно быть!.. Надо, напротив, защищать... все одного и один всех... и быть друзьями, братьями даже! Я, знаете, верю, что все ошибка, что все не так, и все надо поправить, докончить... и что это-то и есть миссия человека!.. Я верю!..

– Не понимаю я вашего красноречия! – упрямо и угрюмо, но, как показалось Ланде, нарочно так ответил Ткачев.

Ланде улыбнулся.

– Я не умею говорить лучше... Разве вы меня, правда, не понимаете? Мне кажется, нет... Я хотел сказать, что нет злобы и ненависти самих по себе, что это только следствие работы над миром, и их надо устранить...

– Ишь, – насмешливо вставил Ткачев. – Легко.

– Нет, не легко... трудно, страшно трудно! Но не невозможно: нет такой ненависти и злобы, которых нельзя было бы победить!

– К чему вы мне все это говорите? – остро перебил Ткачев.

– Я к тому говорю, – заторопился Ланде, точно боясь, что Ткачев уйдет, и опять беря его за руку, – что вижу... мне кажется, что вы перестали верить в эту возможность, а поверили в то, что злоечно, что зло везде торжествует и что надо не бороться с ним, а служить ему! А это ужасно!.. Это не так. Вы просто упали духом, озлобились, и теперь вы только искусственно сгущаете атмосферу вражды, воображая, что, наконец, научились дышать по-настоящему... Ах, Ткачев, какая это ужасная ошибка! И ведь чувствуете ее вы: ведь вам тяжело дышать, трудно? Да?

Ткачев угрюмо молчал и дышал тяжело, через нос.

– Не надо вражду встречать враждою! – говорил Ланде, блестя открытыми глазами, как будто не думая о том, что говорит, точно и не говорил, а пел, выливая песню прямо из сердца: – Этим она побеждается! И никогда не чувствуется такой радости, такой легкости, такого удовлетворения, как тогда, когда вы побеждаете вражду в себе, не отвечая ею на чужую вражду!.. Разве это чувство не указывает, где путь?.. Какая радость это чувствовать! Каких страшных мук нельзя перенести за эту радость!.. Ну, пусть к вам люди относятся дурно, жестоко даже, пусть условия вашей жизни тяжелы, пусть это так; но ведь внешние условия жизни и не могут быть совершенно одинаковыми у всех людей, и с этим так легко, в сущности, мириться, если...

– А вы были когда-нибудь голодны? – вдруг язвительно перебил Ткачев. – А, господин Ланде?

– Ах, Боже мой, зачем вы говорите так! – с мольбой, вонзавшейся в душу, зашепел Ланде. – Ведь вы же знаете, что и голод, и муку, и самую смерть можно перенести за идею... Мученики же умирали в страшных мучениях...

– Так то мученики! – вздернув головой, возразил Ткачев.

– Разве вы думаете, Ткачев, что все мученики были какими-то особенными людьми? Нет, и я, и вы, и всякий самый маленький человек все перенесет за идею, раз только эта идея будет его идеей, его чувством! Правда ведь?

– Может, и правда... – угрюмо ответил Ткачев.

– Правда! – радостно подхватил Ланде, и все лицо его осветилось. – Правда есть в человеке, эта великая сила, именно в человеке она есть! А раз так, значит, он все может, всякий все может!.. Против любой силы может бороться и победить... Почему вы украли, Ткачев?

Ткачев вздрогнул, быстро стал бледнеть, так что ясно было видно, как постепенно кровь отливает от лица, и широко раскрытыми глазами, из которых выглянула страшная мучительная рана, с бешенством уставился на Ланде:

– А вам какое дело? – хрипло проговорил он, вытягивая к нему худую черную шею.

– Я знаю, почему, – вздрогнувшими губами, но твердо проговорил Ланде, – и хочу об этом говорить...

Ткачев неподвижно и жутко смотрел ему прямо в глаза. Ланде близко видел его темные зрачки, ставшие совсем круглыми, и сквозь них смотрела на него бессильная, затаившаяся навсегда вечная обида и ненависть. Ланде почему-то подумал, что если он моргнет, то Ткачев или ударит его, или плюнет в лицо. Но он не моргнул.

Ткачев вдруг опустил глаза.

– Ничего вы не знаете! – сказал он тихо, грубо и с вызовом.

– Нет, знаю! – твердо возразил Ланде. – Я ведь знаю всю вашу жизнь, мне говорили о ней много... Да вы и сами рассказывали много, когда говорили в суде... Мне передавали. Вы так правильно и ярко описали ее, что трудно было бы...

Неумное, хвастливое выражение появилось на лице Ткачева.

– А вы думаете, только вы, господа студенты, говорить умеете? Нет, прошли те времена! Теперь... – некстати заговорил он.

– Ведь вы потому и украли, что никогда вором не были... – не слушая его, продолжал Ланде. – Я знаю, вы всегда жили страшно тяжело, но не только не крали, вы даже не пили никогда, не курили... Нашли же вы в себе силы тогда все учиться? Я знаю... Я знаю и как вы изучали Евангелие, как вы перестали мясо есть...

– Глупости все это! – с неестественным, деланным презрением возразил Ткачев.

– Нет, не глупости! Это великое дело, когда человек так работает над самим собой! На это надо большую, громадную силу. И она у вас была... Отчего же ее теперь нет, Ткачев? – с мольбой, хватая его за руки, говорил Ланде. – Отчего вы не боролись до конца?

– До какого же такого конца? позвольте вас спросить, господин Ланде? – скривив все лицо в злорадную и вместе жалкую гримасу и вырывая руки, спросил Ткачев.

– До победы, Ткачев! – вставая к нему, ответил Ланде. – Человек все может победить за свою идею; а у вас была своя идея, что все люди одно, и жизнь, чувство должно быть одно и хорошо! И вы бы победили, Ткачев, вы – сильный человек! Почему же вы упали духом, что случилось?

Ткачев молчал. Замолчал и Ланде в странном трепете. Страшный подъем, с которым он говорил, обессилел его. Светлые волосы прилипли ко лбу, губы и руки дрожали, и только глаза по-прежнему светились любовью и жалостью.

Ткачев довольно долго молчал.

– Слушайте, господин Ланде, – заговорил он, подняв голову, но не глядя на Ланде: – вы вот говорите, что знаете меня, и говорите верно... знаете... всю мою разнесчастную жизнь и все мои горькие страдания вы знаете... да... Только ведь и я вас знаю, господин Ланде, не хуже вашего! Вот-с! Вы, господин Ланде, очень хороший человек, – о вас все так говорят, и я знаю. Лучше вас у нас в городе, а может, и нигде, нет... Я так полагаю, что вы, может, святой человек, потому что душа у вас чистая... ровно стекло! А позвольте вас спросить: где же вы-то были, когда... все это происходило со мной?..

Ланде поднял руку.

– Нет, позвольте теперь мне сказать! – крепким, злым голосом перебил Ткачев. – Много вы в моей жизни значили, господин Ланде, если правду сказать: я вас давно знаю; мальчиком вы еще были, а и я не Бог весть каким взрослым был, когда... Очень много вы для меня тогда значили! А вы помните, господин Ланде, как я к вам приходил за книгами? Еще вы ехать собирались, в передней чемодан увязывали... Я до того, чтобы увидеть вас, три года ждал, а что вы мне сказали? Ланде весь задержался в мучительном волнении.

– Ткачев, Ткачев, это правда... только ведь... – жалобно закричал он.

Ткачев повернулся к нему черным каменным лицом и режущим голосом, сквозь зубы проговорил:

– А вы мне сказали, что, мол, едете... некогда вам, после обещали поговорить! Только и всего... А я от вас тогда слова на всю жизнь ждал... Что-нибудь одно: или вы меня не поняли, проглядели, что во мне было настоящее, или видели, да свой отъезд, дело выше поставили. Так, господин Ланде? Или, может, я не понимаю?..

– Богом вам клянусь, – вскрикнул Ланде, – что, если бы я понял тогда, я остался бы... Вы сами виноваты, Ткачев! Надо было приступить прямее, сильнее, постучаться в душу прямо! Ведь вы же видели, что я просто не понимаю!

Ткачев медленно и зло усмехнулся.

– Видел, в том-то и дело, что видел. Это-то меня, может, раз и навсегда и с дороги-то сбило.

Ланде широко раскрыл глаза.

– Если бы вы, господин Ланде, поставили свой отъезд по делу, интерес свой важнее того, что человек к вам со всею душою пришел, я просто, может, плюнул бы на вас и сказал: «Дрянь человечешко, такой, как и все, дрянь!» А то нет... Увидел я, что вы просто меня не понимаете, не видите моей муки...

Ланде мучительно сжал пальцы.

– Ведь это может со всяким человеком случиться! Ведь бывает такое состояние, точно душа в нем спит... Вот и я спал тогда. А вы... отчего вы не разбудили, не растолкали?

Опять Ткачев также медленно и зло усмехнулся.

– А я подумал так, господин Ланде... – Его глухой голос зазвучал торжественностью, долгожданной, из души выболевшей исповедью. – Ведь вот, человек – самый лучший, другого такого, может, во всю жизнь не встретишь, а достучаться в душу и к нему трудно...

– Не всегда же, Ткачев...

– Ну, не всегда... Так ведь это же – во-о-н какой человек! А вот и его иной раз толкать нужно, чтобы он чужою болью поболел!.. А что ж тогда другие-то?.. Ведь, пожалуй, и не растолкаешь... а, как вы думаете? – с насмешкой спросил Ткачев.

– Не может быть! Надо толкать... можно!

– Да ведь этак всякого человека расталкивать и сил не хватит... А жить же когда? А?..

Ткачев торжествующе замолчал. Ланде светло улыбнулся и тихо заговорил:

– Ткачев, да ведь в этом же и жизнь!.. Отзвук этого стука и есть счастье, счастье самое захватывающее, великое счастье – слышать ответ и сознавать, что если даже мы и не достучимся во все сердца, в одно общее человеческое сердце, то ведь не умрет начатый нами стук, будут стучать другие, за нами, пройдет он из сердца в сердце, и когда-то... Ткачев...

– А, ха-а! – хрипло и громко не то захохотал, не то закричал от боли Ткачев. – Фью! – резко свистнул он.

– Вам кажется это смешным, Ткачев? – с широко открытыми глазами спросил Ланде. – Вы не верите?

– А вы как думали?.. Так это, значит, одной мечтой жить, в страдании счастье искать?.. А сам-то, сам... так и умирай, как жил? Как будто и не стучался? Го-го! И пить – умереть, и не пить – умереть! Нашли дурака, как же! Энтó кой-кому лучше не надо!

Голос у него стал какой-то гокающий, нахальный и пустой. И если у Ланде была надежда, что Ткачев поймет его, то в эту минуту, под звуки этого голоса сразу, невидимая, неодолимая, стала между ними непроницаемая стена, и холод ее проник до самых сердец обоих. И то, что произошло дальше, было уже дико, нелепо и безобразно.

– Ткачев, – робко и растерянно заговорил Ланде, – опомнитесь... Разве вы не понимаете?... Уйдите отсюда, – на вас это ужасная обстановка повлияла!

– Куда идти-то? – издевался Ткачев.

– Куда-нибудь... ко мне... Я вам денег принес... Вы возьмите и уедете отсюда, забудете; а когда пройдет время, вы опомн...

– Де-нег? – сощурившись, переспросил Ткачев и вдруг страшно грубо, резко и отчаянно крикнул:

– Не надо мне твоих денег! Деньгами заткнуть хочешь! Убир-райся!

– Ткачев, Ткачев... за что? Как вам стыдно будет потом! Милый Ткачев, ведь я... – с горькой мукой говорил Ланде и судорожно хватал его за руки.

Но Ткачев с силой вырвался, как-то с размаху повернулся, быстро вышел из камеры, но сейчас же и вернулся. Он остановился на пороге, несколько секунд неподвижно и пристально смотрел на Ланде, потом тихо проговорил, точно про себя:

– Блаженный... – И еще тише, но язвительно и зло, как будто источая тонкий яд, прибавил: – Святая душа на костылях... дурак!..

Потом по-солдатски резко повернулся и пошел вдоль коридора.

– Ткачев! – позвал Ланде. – Ткачев!

Но Ткачев не отозвался и ушел.

V

Поздно вечером Шишмарев пришел к Ланде. Маленький студент с резким голосом и торопливыми движениями, весь находился под впечатлением решения Ланде отдать деньги. Но он чувствовал себя как-то странно: то, что хотел сделать Ланде, восхищало его и наполняло душу умилением, захватывающим чувством необыкновенного подъема; но в то же время ему было странно и неловко, точно сам он делал что-то дурное, чего не следовало бы делать.

– Да я-то, собственно, при чем? – успокаивал он себя; но все было также неловко.

Он торопливо вошел в комнату, пожал Ланде руку и сказал, почему-то избегая смотреть ему прямо в глаза.

– Ну, вот и я...

Ланде сейчас же полез в стол и достал деньги – четыре пачки длинных, красивых бумажек, сухо шелестевших в его тонких пальцах.

– Я хотел тебе сказать... – вдруг, точно его толкнуло, заговорил Шишмарев резким, но смущенным голосом. – Может, не все?..

Ланде, как будто думая о чем-то другом, просто сказал:

– Все равно, отдавать, так все... Он помолчал, подумал и прибавил:

– Леня, я с тобой не пойду, ты сам раздай; я скажу тебе, почему: мама страшно сердится на меня за эти деньги... надо успокоить, поговорить...

Шишмарев нерешительно взял деньги.

– Вот, видишь, и твоя мать сердится... – неуверенно возразил он.

Ланде бледно, но твердо улыбнулся.

– В таких случаях не надо думать о матери! – серьезно ответил он.

Шишмарев все не двигался, и все более и более становилось ему неловко.

– Я, право, не знаю... – говорил он. – Как же я сам...

Ланде опять улыбнулся, но уже светло и ласково.

– Как-нибудь... – махнул он рукой. – Сердце подскажет. Да и не Бог весть какое уж это трудное дело.

– Ну, как знаешь! – все так же нерешительно согласился Шишмарев и взял фуражку. Почему-то ему вдруг до слез стало жалко Ланде. В комнате было как-то неуютно, пусто и веяло чем-то монашеским, одиноким. У Ланде был больной и унылый вид. И против воли Шишмареву было странно и непонятно, что у человека, делавшего такое хорошее, большое дело, не было на лице радости и гордости.

«Станный он какой-то!» – подумал Шишмарев, и эта мысль, как-то незаметно для его сознания, ослабила в нем чувство к Ланде и его поступку.

– До свидания, – сказал Ланде.

– Ваня! – крикнул за дверью дрожащий и странный голос матери Ланде.

Губы Ланде страдальчески вздрогнули.

– Иди лучше! – тихо, но твердо сказал он Шишмареву.

Шишмарев мялся. Деньги почти физически жгли ему руки, точно уворованные.

– Просто это надо оставить! – сказал он с легким оттенком смутной, неприятной досады. Ланде покачал головой.

– Нет, – сказал он, – это надо сделать. Там страшная нужда, горе... а маме только кажется, что она страдает... Все равно эти деньги я должен был истратить на себя.

Мать Ланде вошла. Всегда мягкое, освещенное печалью и добродушием старое лицо ее было возбуждено, зло и жестоко. Дышала она тяжело и часто, так что это дыхание было слышно по всей комнате.

Ланде быстро пошел ей навстречу, взял за обе руки и притянул их к груди.

– Мама... – твердо сказал он, заглядывая ей в глаза. – Не надо!

Шишмарев неловко поклонился. Мать выдернула руки.

– Что не надо? – резко и громко, озлобленным, срывающимся голосом, по которому было видно, как много она кричала и плакала, заговорила она. – Ты права не имеешь! Отец работал всю жизнь не для каких-то нищих! Дурак!

Шишмарев стоял красный и растерянный, машинально держа деньги перед собою.

– Иди, Леня!.. – печально, но спокойно сказал ему Ланде.

Мать дико вскочила и загородила дорогу, хотя Шишмарев и не трогался с места. Седые волосы спутались у нее на лбу, и было что-то хищное, нечеловеческое в округлившись, ополоумевших глазах.

– Это вы его сбиваете! – со страшной злобой закричала она. – Как вы смее? Я жаловаться буду! Это грабеж... Обрадовались!

– Я... – растерянно и оскорбленно начал Шишмарев.

– Отдайте! – взвизгнула старуха и быстро выхватила из рук Шишмарева деньги, поттичь согнув пальцы, сразу ставшие костлявыми и крючковатыми, как когти.

Вдруг страшная злоба и обида вспыхнули на лице маленького студента.

– Да возьмите, пожалуйста! – вздернув плечами и сжав кулаки, резко вскрикнул он так громко, что слышно было на улице.

И сразу все стихло. Старуха смотрела на него круглыми, странными и страшными глазами. Шишмарев повернулся к Ланде, пошевелил губами, задохнулся, и судорога задержала его левый глаз и щеку. Его душила обида и гнев, и были они против Ланде.

– Т... так нельзя... – проговорил он. – Прощай, я пойду... ххм...

– Иди, Леня... – также печально и также спокойно ответил Ланде. – Не сердись на меня!

Шишмарев двинулся, растерянно скривился, точно хотел еще что-то сказать, но не сказал и ушел.

Тихо стало в комнате. Мать Ланде крепко держала руку глубоко в кармане вместе с деньгами, зажатыми в ней, а Ланде смотрел на нее печально и ровно открытыми глазами. Их было двое в маленькой комнатке, но каждый чувствовал себя как будто был один.

– Ты, пожалуйста, выкинь из головы эту дурь! – все еще сдавленным голосом, наконец, проговорила мать.

– Это не дурь... – покачал головой Ланде.

– Кого ты этим думаешь удивить? – язвительно продолжала мать. – Как тебе не стыдно, – до чего довел! – вдруг жалко и слезливо проговорила она, вынула руку из кармана и заплакала.

– Это не я довел... – возразил Ланде. Мать плакала. Ланде молчал, горько сжав руки. В комнате было темно и грустно.

– Сам мне потом спасибо скажешь! – уже тихо проговорила мать.

– Не знаю. Слушай, мама, раз ты мне не даешь денег, я не буду требовать. Пусть они будут тебе... Острая, горькая обида кольнула мать в сердце.

– Что-о ты говоришь! – со слезами негодования крикнула она, укоризненно всплеснув руками. – Да разве я для себя!.. Зачем они мне?.. Мне умирать пора... Что ты говоришь, опомнись!

Ланде помолчал.

– Я знаю... – сказал он. – Но я не то хочу сказать. Я ведь, мама, люблю вас, страшно люблю. Но вы думаете, что, сберегая для меня эти деньги, спасаете меня от гибели; а я думаю, что этим вы меня губите. Неужели вы думаете, что я возьму эти деньги для себя только?.. Все равно, этим или другим, а я отдал бы деньги тем, кому чувствовал бы, что их должен отдать... А потому...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.